

В 1823 году во втором номере «Литературных листков» появилась удивительная миниатюра А. С. Пушкина. Она называется «Птичка» и состоит всего из восьми строк:

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;

За что на бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я смог свободу даровать!

«Я стал доступен утешенью; За что на Бога мне роптать?» — хотелось мне поставить эпитафией. Но А. С. Пушкина править нельзя, ставить вместо точки с запятой знак вопроса нельзя тоже! Уж лучше совсем без эпитафии...

* * *

Первые, ещё не осмысленные впечатления, полученные в младенчестве и во время раннего детства, остаются главными на всю жизнь. Они определяют человеческую судьбу, ставят вешки слева и справа на всю последующую жизненную дорогу. Отрадно и неожиданно всплывают эти впечатления посреди жизненных бурь, нечаянно возникают в зрелые годы, указывая верное направление пути, вдохновляя на борьбу и убеждая человека не падать духом... Моим самым ранним воспоминанием предшествует странное состояние, не имеющее названия. Моего «я» совсем тогда не существовало, я был окружён миром, отражённым самим в себе, а может быть, мир был мною, отражающим самоё себя. Так или иначе это ощущение, несмотря на его абстрактность, я испытал конкретно и чётко. Оно состояло из радости, спокойствия, блаженства, полной гармонии и ещё чего-то необъяснимого и прекрасного. Вероятно, всё это и было тогда моим подлинным полноправным течением времени. Да, всё так и было, я не проецирую в прошлое элементы моих теперешних состояний или изодранной фантазии. Я был растворён в мире, хотя моё тельце уже качалось в скрипучей драночной колыбели.

Рождая дитя, мать испытывает боль, физические страдания. По логике, такую же боль должен вынести и рождающийся младенец. Разве ему не так же больно и трудно, как и его матери? Но мы никогда не говорим о страданиях и боли рождающихся. Может быть, они не испытывают боли потому, что ничего не знают о ней?

Счастливое состояние полной гармонии, единства со всем окружающим продолжалось и тогда, когда память запечатлела первый образ окружившего меня мира. Он объёмен, универсален этот образ. Он не дробился на отдельные зрительные, слуховые и прочие ощущения. Ничто не выделялось, не выпирало, не требовало особого к себе отношения. Надо ли говорить, что образ этот был неосознанным и что он также не имеет названия? Однако я твердо знаю и помню, что он был в реальности. Вероятно, уже тогда он начал потихоньку терять своё монолитное единство, цельность, отдавая мне свои крохотные осколки... Память, создавая меня, бережно прибирала к рукам эти частицы. И чем

быстрее она это делала, тем ярче, ощутимей, материальней становились отдельные частные детали окружающего мира, тем резче отделялся я от него, разрушая наше с миром единство. По-видимому, от этого он не становился беднее. Может быть, он даже обогащался за счёт моего постепенного отчуждения... (Не отсюда ли, не с тех ли первых попыток самоутверждения начинается всё то, что позже заставляет нас так жестоко страдать?) Но в младенчестве ещё далеко до страданий...

День и число моего появления в этом, спервоначалу прекрасном мире не запомнила даже мама Анфиса Ивановна. Она и следом за ней вся родня, все близкие простодушно забыли число и название дня. Запомнили только, что это рядовое, выдающееся лишь для меня событие произошло осенью 1932 года...

Теперь, когда до моего семидесятилетия остался один год, то бишь под конец жизни, я чётко осознаю трагичность каждой человеческой жизни. Для меня самоочевидна эта трагичность, независимо от жизненной продолжительности. Она (трагичность) проявляется уже во время рождения младенца, быть может, ещё ранее. (Одна лишь тайна зачатия предвосхищает эту трагичность, а неизбежность смерти усугубляет.) Рождение нового существа хотя бы из-за физических страданий матери и материнской радости есть уже великая драма! Как труден и как грозен этот акт — акт рождения! А сколько подобных событий, сколько опасностей поджидают мать и дитя впереди? Но драма (по законам жанра) вовсе не исключает восторгов и радостей как для матери, так и для вновь рождённого человека. Муки, испытанные во время родов двумя (матерью и дитятей), — позади. Сколько радости, сколько великой нежности к ребёнку возникает у матери и у всех окружающих, включая соседей [Представим теперь величину греховных мук матери, если она абортom губит живую душу или когда бросает дитя на произвол судьбы... Хотя подкидыши в крестьянстве были редки.]!

Ликующие образы мира и образ матери — для младенца одно и то же. Иногда они перемежаются и сливаются с образами, приходящими ребёнку во сне. Младенец ведь спит большую часть своего времени. Да и все дети, что общеизвестно, спят больше, чем взрослые. Как раз в таком младенческом и раннедетском состоянии сны и явь плавнее перетекают друг в друга, то сливаются в одно целое, то разъединяются. У младенца нет разницы между сном и реальностью. Позднее, будучи юными, многие люди всерьёз считают, что некоторые события, привидевшиеся им во сне, были взаправду. (Моя младшая сестра Лида в школьную пору была убеждена, что помнит тот момент, когда она родилась...)

Образы детских счастливых снов, приходившие ко мне во младенчестве, разумеется, давно стёрлись. Давно улетели из моей памяти эти мимолётные вестники разума. Утверждать, что ясно помню шелест их нежных, почти ангельских крылышков, я не могу, но ощущение этой радостной нежности, их лучезарный свет остались, видимо, навсегда...

Анфиса, моя матушка, как говорили старушки, родила меня в бане. Эта баня стояла да и сейчас стоит под горкой у речки. Старухи спорили только об одном: за неделю до Покрова я родился или спустя неделю?

Около Покрова обычно выпадает первый снег, замерзают озёра и реки. Наверное, я появился на свет в субботу или в воскресенье. Бани по-чёрному крестьяне тысячу лет топили именно по субботам. Вероятно, меня вместе с матерью в тот же день переправили в дом, в новую обжитую зимовку, где уже обретался мой четырёхлетний брат Юрка. (Отец хотел, чтобы брата назвали Петрухой, но мать настояла на другом имени, и Петька стал Юрием.)

Итак, я появился в нашей новой зимовке, не топить же было баню во второй раз из-за нас с мамой? Младенец мог бы и задохнуться в дыму... Зимнюю избу, летнюю часть дома, стоявшую ещё без окон, двор, хлев, амбарчик и баню отец Иван Фёдорович рубил при помощи моей матери. Лес на эти постройки был заготовлен «под сок», то есть весной. Сразу после отцовской действительной службы и женитьбы, в зиму, когда нас ещё никого не было, бабка Фоминишна с отцом ещё на своей лошади Карюхе вывезли из тайги брёвна. Иван Фёдорович при помощи родни за одно лето (по-видимому, в 1927 году) срубил все эти строения. Мать моя тюкала топором на одном углу, отец на другом. Он рубил да жену молодую нахваливал...

Любовное их знакомство состоялось ещё до действительной отцовской службы. Оно связано тоже с баней, правда, с баней иной. Отец, будучи сиротой (моего деда убили где-то на строительстве Северной железной дороги), был не богат. Жили у Фоминишны в постоянной нужде, и потому ещё до службы отец подрядился рубить баню для Михаила Григорьевича Коклюшкина, мамина деда. В той же деревне. Из дома Коклюшкиных мать, тоже сирота, но уже круглая, без приданого, пошла в старую курную избу Ивана Фёдоровича. Мать рассказывала, как Михайло Григорьевич стучал ногтем по берестяной табакерке и приговаривал: «Выходи, выходи, Анфиска, за Ваньку-то. Ванька парень хороший».